ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Последний день зимней сессии. Царских времён здание педагогического института нависает над тоненькой змейкой улочки. Хилым голубоватым светом горят три окошка на четвёртом этаже. У одного из них можно заметить тщедушную фигурку. То ли больной ребёнок, то ли старик – непонятно.

«Сигануть бы в окно – и в лепешку, – посмеиваясь про себя, думает профессор Альберт Владленович. – А что? Даже оригинально. “На восемьдесят девятом году жизни нас покинул дэ точка филол точка эн точка Супротивцев А точка Вэ точка. Вся кафедра истории русской литературы скорбит и приносит близким свои искренние соболезнования”. Хотя, кому приносить-то? Не напишут, что с собой покончил. А то пересуды пойдут, что в маразме был – на экзамене из окна прыгнул, совсем обезумел. Да про безумие уже и так разговоры идут. Не знаю, что ли? Обидно. А может, и правда. “Скорбит вся кафедра…” Конечно, скорбят они. Профессорская ставка пуста не бывает. Шевцов особенно доволен будет. Жопой в ладушки сыграет, как говорит… говорила моя бабка, Авдотья Архиповна, прости Бог её душу. Сколько мне было тогда, когда её не стало? Помню, отец ещё в консерватории работал, но я уже чего-то понимал, значит, – дай Бог памяти, – около семи, наверное. Восемьдесят два года назад. В восемьдесят два Володька Котляров умер, прости Бог его душу, дельный был, одобрял я его. Ему по-хорошему-то не в науку надо было, он поэт был. Поэт! Восемьдесят два. В восемьдесят втором мы с Верочкой квартиру получили».

– …поэтому можно говорить о том, что в «Братьях Карамазовых» Достоевский подводит итог многим философским вопросам, которые он ставил в предыдущих произведениях, но нельзя отрицать и того, что новые вопросы появляются разные, продолжаются какие-то. – Заканчивает утомительную чеканно-пономарскую речь тоненькая некрасивая девочка, кажется, с головы до самых кончиков пальцев ног покрытая веснушками.

– Что ж, ответ дельный, одобряю, – «Как зовут? Забыл. Маша? Марина? Чёрт с ней», – коллега. Пятерку я вам безусловно поставлю. Хороших каникул вам.

«Прости Бог мою душу, ну, сколько там ещё осталось?» – Альберт Владленович снял старомодные андроповские очки. Потёр воспалённо-пунцовую переносицу. «Сколько я их уже отслушал? Так, это была Юдина, слава тебе, Господи. Отлично. Только Яшкина осталась. Ботинки не промокнут по такой слякоти? А утром-то ещё сухо было. Вот залепил снег-то. Залепил».

Острожное «тук-тук». Дверь аудитории приоткрылась. В проёме показалась головка коротко стриженной девочки. «Подумать только, и вот эта через пару лет замуж выйдет, она в куклы-то не наигралась», – профессор снял очки и протёр их замшевой тряпочкой.

– Альберт Владленович, можно? – Вечно тихая, незаметная Яшкина и сейчас говорит полушёпотом.

– Да-да, проходите, коллега. Тяните билет, готовьтесь, у вас пятнадцать минут.

«Не хочу слушать, бу-бу-бу-бу, что я там новое услышу? Она хоть слово новое скажет? Яшкина. На каждом семинаре – в каждой бочке, аккуратненько так руку поднимет и, как по учебнику, всё перескажет. Не хочу».

– Вы, коллега Яшкина, ответ на листочке кратенько, тезисно запишите, я прочту, если вопросов не будет, то сразу на каникулы с пятёркой отправитесь.

Студентка почерком прописей для первоклассников выводила на двойном листочке что-то о соотношении рассказа и повести в творчестве Толстого. Движения мерные, строчит как заведенная. Или нет, на швею похожа – стежочек за стежком. Альберт Владленович решил размять затекшие ноги, стал расхаживать по аудитории: от окна к двери, а от двери – к окну.

«Вот и ей пятерку. И всем пятёрку. Напишет. Согласен. Пять. Каждый день. Согласен-согласен-согласен. Сколько же это можно? На кафедре читают тезисы. Согласен. “Дедушка, мы с Костей решили в Израиль уезжать, но мы тебя навещать будем”. Согласен. Бог с вами. Шевченко защищался: диссертация слабая, дрянь. Переписал штук пятнадцать авторефератов и приправил конспектами затрапезных статей. Кандидат наук. Согласен. Сейчас вроде докторскую пишет? Пусть пишет. Согласен. Восемьдесят девять лет согласен. И та, которая с косой, придет, скажет: “Альберт Владленович, будьте добры, за мной, аккуратнее, тут потолок низкий, берегите лоб”. Тоже скажу: “Согласен”. «Много мяли, вот и мягок». А меня-то и не мяли даже, уже мятым родился. С самого детства –   
мягче не найти. И Верочка всё мне говорила: “Алик, уж ты мягенький какой у меня, была бы у тебя не я, так уже давно бы в веревочку свился”. Правду говорила. Царствие тебе, Верочка, небесное. Рано ты умерла. Пятьдесят шесть – совсем девочка. “Папа, вот Борис, я теперь буду с ним жить”. Опять согласен. Топнуть было нужно. Руками сучить, кричать: “Не пущу, чтобы с этим тунеядцем я тебя не видел, дочь моя, светлая моя Светлана, погубит он тебя!” Не кричал. Потом накричался. Восемьдесят девять лет – тише воды ниже травы. На кафедре держат как ископаемое. Совсем, думают, умом наш Альберт подвинулся. А может, правда…»

Альберт Владленович остановился взглядом на белокурой голове, склонившейся над тетрадным листом. «И ты, бедняга, такая же. Всю жизнь, наверное, тихая, плывешь по течению. Как мама с папой скажут –   
согласна. Аспирантура тебе, заяц, светит. Потом докторантура. Потом на кафедре до самых седин, как Альберт Владленович Супротивцев. Никакой встряски, ясно всё до предела. Со всем согласна. Эх, ты!»

Так бы и кончилась эта история: Альберт Владленович побегал глазками по выверенному и точному, но пустому и неоригинальному ответу Яшкиной, поставил бы ей пятёрку и поехал бы домой, серый и мокрый, в вагоне с такими же серыми и мокрыми людьми. Именно так и кончилась бы эта история, если бы внезапная и шальная мысль не посетила голову профессора. Маятниковый шаг профессорских ног стал поживее, Альберт Владленович обрел черты разминающегося спортсмена. Он то убирал руки в карманы, то теребил порыжелые генеральские усы. С лица не сходила озорная улыбка нашалившего ребёнка.

– Извините пожалуйста, я, кажется, готова, – пролепетала Яшкина, протягивая профессору листок. Голос дрожал. Очевидно, боялась. Кого? Альберта Владленовича? Главного добряка института? У которого четвёрку-то получить было неслыханной катастрофой. Дурочка.

Альберт Владленович надел очки и насупил брови. Чем дольше он читал, тем сильнее лицо его багровело, губа задрожала, толстые генсековские брови опускались всё ниже и ниже. На лице старика-профессора не осталось и тени былого веселья, казалось, мысль, так позабавившая его минуту назад, улетучилась бесследно. На смену ей пришло горькое разочарование и жгучее неудовольствие.

– Коллега, – зловеще понизив голос, начал Альберт Владленович. – Вы что вообще мне показываете? М? Это что такое вообще тут написано? Что вы молчите? Пятнадцать минут писали? Вот такое пишете, коллега?

Яшкиной показалось, что она спит, что это не с ней. Такое уже было во сне: готовишься на экзамене, сдаешь работу, а там пустой лист или белиберда какая. Вот сейчас она проснётся, ещё немножко. А профессор смотрел на неё испепеляюще и неодобрительно качал головой. Так во сне не бывает, слишком всё как взаправду.

– Я… Альбер…

– Это что такое, я вас спрашиваю! – ошеломительно сотряс застоялый воздух аудитории Альберт Владленович. – Вы мне что показываете! Вот так, значит, пишете! Ну, я вам устрою, Яшкина! Устрою! Давайте зачетную книжку. Давайте зачётку, я вам говорю!

Яшкина неуверенно двинула зачётку по столу в сторону преподавателя. Она словно прощалась. Непонятно: с зачёткой или с жизнью. Альберт Владленович, как краб, вцепился в синюю корочку, мигом раскрыл, поставил оценку, расписался и пренебрежительно швырнул книжку студентке.

– Вы ещё здесь?! Не испытывайте моего терпения, Яшкина! Не испытывайте! – Старик затопал ногами.

Девушка даже не старалась сдержать слёзы. Выбежала из аудитории. Пустой и длинный коридор. Такое у Яшкиной было в первый раз. Что она написала не так? Где ошиблась? Переготовилась, мозга за мозгу зашла, наврала, перепутала. Спросили про Толстого, а написала про Достоевского? Может, с датами написания наврала? Вместо «тысяча восемьсот» написала «тысяча девятьсот»? Зачем он так кричал, чем заслужила? Всегда на семинарах отвечала. Сил открывать зачётку не было. Душа патологической отличницы билась в истерике при одной мысли о том, что в стройном ряду пятёрок, сплошь прямых и гордых, паршивой овцой примостится горбунша-двойка. А может, пожалел? Поставил три? Всё же на каждом семинаре отвечала. Яшкина приоткрыла зачётку с закрытыми глазами. Медленно досчитала до трех, не пропустив два с четвертью, два с иголочкой и два с ниточкой. Открыла глаза. Напротив «Истории русской литературы 2-й половины XIX века» стояла небрежно выведенная пятёрка.

Альберт Владленович стоял у окошка и тёр тупо нывшую переносицу. Со спины не поймёшь – то ли ребёнок, то ли старичок. Снег кончился. Послезавтра Новый год.